

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ, ИНТЕЛЛИГЕНТЫ, ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ

В середине XVIII в. произошло и осталось никем не замеченным одно из самых важных событий в истории человечества. В Англии начался демографический взрыв, стремительный рост населения, который потом волнами покатылся по Европе и миру и не останавливается до сих пор. Отчего он начался — дело спорное: раньше считали — от успехов медицины, теперь считают — от улучшения питания. Но значение его было бесспорным. До этих пор человечество много тысяч лет боролось с природой за выживание, и большие эпидемии или неурожаи могли уничтожить его даже не вполовину, а целиком. (Если чума XIV в. унесла меньше народов, чем могла, то только потому, что по тогдашним дорогам даже чуме было трудно пробираться.) Чтобы выстоять в борьбе с природой, люди сплывались в общество. Общество было жесткое, традиционалистическое, с раз и навсегда выработанными порядками и идеалами. Это произошло потому, что ситуации борьбы с природой были однообразными: важно было копить коллективный опыт и хранить традиции.

В XVIII в. стало ясно, что победа одержана, человечество спаслось от вымирания. (Символом — если нужен символ — можно считать образ Робинзона Крузо, выживающего в заведомо гибельном единоборстве с природой.) Борьба с природой из оборонительной стала наступательной, ситуации ее сразу сделались гораздо менее предсказуемыми, коллективного опыта для них было уже недостаточно. Кроме того, — и это очень важно — старый опыт, накопленный обществом и отложившийся в его устройстве, теперь уже начинал мешать, требовал смены устройства, а оно то-же не давалось без борьбы. В психиатрии это называется неврозом: психика человека, ощущая какую-то угрозу, строит механизм, все более мощный, защищающий от этой угрозы; угроза проходит, а защитный механизм остается, требует все больших душевных затрат впустую и наконец заставляет человека лечиться от собственного защитного механизма. Лечение человека бывает трудным, лечение общества — тоже трудным и часто кровавым.

Говорят, в звериных стаях есть особи-маргиналы с нестандартным поведением: их держат в унижении и пренебрежении, однако не убивают. А когда стая оказывается в нестандартной, опасной ситуации, их выпускают вперед: если погибнут — не жалко, а если не погибнут, то, может быть, отыщут выход. Вероятно, в человеческой стае тоже есть такие маргиналы с таким отношением к ним; теперь, во время всевропейской перестройки, спрос на них вырос, они и стали героями новой, индивидуалистической эпохи. К ним и относится определение «интеллигентсии», цитируемое Д. Мирским из Оксфордского словаря: «часть нации, стремящаяся к самостоятельному мышлению». Когда культурным героем прежних эпох был святой или рыцарь, в нем ценилась не личность — ценилось, с какой полнотой они воплощают общехристианские или общесословные идеалы. Теперь в таком герое стала цениться именно индивидуальность, непохожесть на других; отсюда пошли все романтические и декадентские демоны и титаны. Это в литературе; а в жизни отсюда пошли те работники умственного труда, о которых идет спор в этой книге.

Между ними произошло как бы разделение сфер деятельности. Одни взяли на себя продолжение борьбы с природой — уже в наступлении: это те ученые и техники, наследники научной революции XVII в. и промышленной революции XVIII в., которым мы обязаны нашей современной материальной культурой (без нее не было бы и духовной). Другие взяли на себя борьбу со сковывающими порядками обще-

ства — борьбу оборонительную, новую и непривычную: это профессиональные политики со всем хорошим и плохим, что связано для нас с этим словом. Формы этой борьбы по усовершенствованию общества сложились в XVIII в. в той же Англии и распространились в XIX в. по всему континенту: парламентское равновесие власти и оппозиции. Отношение к власти строилось по образцу отношений в природе, и само слово «оппозиция» было взято из астрономии. Когда эта государственная машина давала сбой, то происходили революции — тоже термин из астрономии. Специалисты и политики смотрели друг на друга свысока и до сих пор не выяснили, в каком соотношении они должны находиться у власти; но сейчас нам это неважно.

Здесь пора начинать игру в терминологию. На Западе работники умственного труда назывались *les intellectuels*, в России с 1860-х годов — интеллигенты. Неопределенность этого понятия явствует из всех без исключения статей этого сборника. Когда с одинаковой легкостью говорят «Бердяев как типичный русский интеллигент» и «Чехов как типичный русский интеллигент», то совершенно ясно, что при такой расплывчатости понятия ни о какой терминологической точности здесь не может быть и речи. Можно было бы попытаться закрепить слова, работник умственного труда за учеными, наступающими на природу, а слово интеллигент — за общественными деятелями, совершенствующими общество. Но и тут всякий носитель русского языка не поколеблется сказать, что и Менделеев — интеллигент, и Эйнштейн — интеллигент. Здесь не явление ищет себе слова, а слово ищет для себя явления. Точно так же, например, русский язык имеет свое слово рассказ и заимствованное слово новелла; означают они в точности одно и то же: короткое прозаическое повествование, но русские литературоведы немало пролили чернил, чтобы закрепить за каждым какие-нибудь надуманные оттенки значения. Поэтому попробуем подойти к понятию «интеллигенция» через историю слова интеллигенция.

У слова интеллигенция и смежных с ним есть своя история. Очень упрощенно говоря, его значение прошло три этапа. Сперва оно означало «люди с умом» (этимологически), потом «люди с совестью» (их-то мы обычно и подразумеваем в дискуссиях), потом просто «очень хорошие люди».

Слово *intelligentia* принадлежит еще классической, цicerоновской латыни; оно значило в ней «понимание», «способность к пониманию». За две тысячи лет оно меняло в европейской латыни много оттенков, но сохранило общий смысл: В. Тредиаковский предлагает для него термин «разумность». В русский язык оно вошло именно в своем этимологическом смысле. В. Виноградов в «Истории слов» (М., 1994. С. 227—229) напоминает примеры из второй половины XVIII — первой половины XIX в.: у масонов это высшее, бессмертное состояние человека как умного существа, у А. Галича «интеллигенция — разумный дух», у Н. Огарева иронически упоминается «какой-то субъект с гигантской интеллигенцией», и даже «собака стала... интеллигентнее, впечатлительнее и сообразительнее, ее кругозор расширился» (Тургенев, 1871). Более позднее определение Даля (1881): «Интеллигенция — разумная, образованная, умственно развитая часть жителей». Вместе со словом интеллигенция в этом смысле, как мы видим, появляется производное слово интеллигентный, позже — слово интеллигент, еще позже — производное от него слово интеллигентский. Последним приходит (из английского и французского) слово интеллектуал: его еще нет в словаре Ушакова 1935 г., но оно уже есть в Малом академическом словаре 1961 г.

Примеров такого — интеллектуалистического — значения слова интеллигенция и остальных в этом сборнике приведено немало. Я хотел бы добавить еще один, малоизвестный, — из введения к неизданной «Методологии точного литературоведения» Б. И. Ярхо (1889—1942): «Наука проистекает из потребности в знании, и цель ее (основная и первичная) есть удовлетворение этой потребности... Вышеозначенная потребность свойственна человеку так же, как потребность в размножении рода: не удовлетворивши ее, человек физически не погибает, но страдает порой чрезвычайно интенсивно. Потребностью этой люди одарены в разной мере (так же, как, напр., сексуальным темпераментом), и этой мерой измеряется степень «интеллигентности».

Человек интеллигентный не есть субъект, много знающий, а только обладающий жаждой знания выше средней нормы» (см.: Контекст — 1983. М.: Наука, 1984. С. 205).

Подчеркиваю, это определение, целиком интеллектуалистическое, принадлежит человеку последней предреволюционной формации — той, с которой расправлялась революция (писаны эти слова в 1936 г. в сибирской ссылке). Наступает советское время, культура распространяется не вглубь, а вширь, образованность мельчает. По иным причинам, но то же самое происходит и в эмиграции: вспомним горькую реплику Ходасевича, что скоро придется организовывать «общество людей, читавших „Анну Каренину“» и пр. (Г. П. Федотов вполне серьезно предлагал подобные меры для искусственного создания «новой русской элиты», которая затем распространила бы свое культурное влияние на все общество и т. д.). Казалось бы, тут-то и время, чтобы интеллектуальный элемент понятия «интеллигенция» повысился в цене. Случилось обратное: чем дальше, тем больше подчеркивается, что образованность и интеллигентность — вещи разные, что можно много знать и не быть интеллигентом, и наоборот. Окончательный удар по этому интеллектуалистическому понятию интеллигенции нанес А. И. Солженицын, придумав слово без промаха: образованщина. Конечно, для порядка образованщина противопоставлялась истинной образованности. Но было ясно, что главный критерий здесь уже не умственный, а нравственный: коллаборационист, который несет свои умственные способности на службу советской власти, — не настоящий интеллигент.

Теперь зайдем с другой стороны — от производного слова интеллигентный. При Тургеневе, как мы видели, оно означало лишь умственные качества — хотя бы собаки. Для Даля оно еще не существует. Около 1890 г. оно ощущается как новомодный варваризм (В. В. Виноградов цитирует филиппику И. М. Желтова). Слово интеллигентный — производное от интеллигенция (сперва как «умственные способности», потом как «совокупность их носителей»). Близкое слово интеллигентский — производное от более позднего слова интеллигент. Как интеллигенция, так и интеллигент — слова, с самого начала не лишённые отрицательных оттенков значения: «интеллигенция» (в отличие от «людей образованных») охотно понималась как «сборище недоучек», примеры тому (в том числе из Щедрина) подобраны у Виноградова; издевательское выражение «а еще интеллигент!» было ходячим уже при Саше Черном. Но на производные прилагательные эти отрицательные оттенки переходят в разной степени.

Слово интеллигентский и Ушаков, и академический словарь определяют: «свойственный интеллигенту» с отрицательным оттенком: «о свойствах старой, буржуазной интеллигенции» с ее «безволием, колебаниями, сомнениями». Слово интеллигентный и Ушаков, и академический словарь определяют: «присущий интеллигенту, интеллигенции» с положительным оттенком: «образованный, культурный». «Культурный», в свою очередь, здесь явно означает не только носителя «просвещенности, образованности, начитанности» (определение слова культура в академическом словаре), но и «обладающий определенными навыками поведения в обществе, воспитанный» (одно из определений слова культурный в том же словаре). Антитезой к слову интеллигентный в современном языковом сознании будет не столько невежда, сколько невежа (а к слову интеллигент — не мещанин, а хам). Каждый из нас ощущает разницу, например, между «интеллигентная внешность», «интеллигентное поведение» и «интеллигентская внешность», «интеллигентское поведение». При втором прилагательном как бы присутствует подозрение, что на самом-то деле эта внешность и это поведение напускные, а при первом прилагательном — подлинные. Мне запомнился характерный случай. Лет десять назад критик Андрей Левкин напечатал в журнале «Родник» статью под заглавием, которое должно было быть вызывающим: «Почему я не интеллигент». В. П. Григорьев, лингвист, сказал по этому поводу: «А вот написать: «Почему я не интеллигентен» у него не хватило смелости».

Попутно посмотрим на еще одну группу мелькнувших перед нами синонимов: просвещенность, образованность, воспитанность, культурность. Какие из них более

положительно и менее положительно окрашены? Воспитанность — это то, что впитано человеком с младенческого возраста, «с молоком матери»: оно усвоено внутри прочнее и глубже всего, однако по содержанию оно наиболее просто, наиболее доступно малому ребенку: «не сморкаться в руку» заведомо входит в понятие «воспитанность», а «знать, что дважды два четыре» — заведомо не входит. Образованность относится к человеку, уже сформировавшемуся, форма его совершенствуется, корректируется внешней обработкой, приобретает требуемый образ («ображать камень» — «выделывать вещь из сырья», — пишет Даль) — образ, подчас довольно сложный, но всегда благоприобретенный трудом. Просвещенность — тоже не врожденное, а благоприобретенное качество: свет, пришедший со стороны, просквозивший и преобразовавший существо человека; здесь речь идет не о внешних, а о внутренних проявлениях образа человека, поэтому слово просвещенный ощущается как более возвышенное, духовное, чем образованный. (Слово просвещенцы звучит менее обидно, чем образованцы.) Наконец, культурность, слово самое широкое, явным образом покрывает все три предыдущие и лишь в зависимости от контекста усиливает то или другое из их значений. Самым молодым и активным в этой группе слов является культурность, самым старым и постепенно выходящим из употребления — просвещенность; уже Даль сводит его к образованности: «просвещенный человек — современный образованьем, книжный». Понятие о просвещенности как свойстве более внутреннем, чем образованность, и более высоком, чем простая воспитанность, исчезает из языка. Освободившуюся нишу и занимает новое значение слова интеллигентность: человек интеллигентный несет в себе больше хороших качеств, чем только воспитанный, и несет их глубже, чем только образованный.

Таким образом, понятие «интеллигенция» в русском языке, в русском сознании любопытным образом эволюционирует: сперва это «служба ума», потом «служба совести» и, наконец, если можно так сказать, «служба воспитанности». Это может показаться вырождением, но это не так. Службу воспитанности тоже не нужно недооценивать: у нее благородные предки. Для того, что мы называем «интеллигентностью», «культурностью», в XVIII в. синонимом была «светскость», в средние века — «вежество», куртуазия, в древности — *humanitas*, причем определялась эта *humanitas* на первый взгляд наивно, а по сути очень глубоко: во-первых, это разум, а во-вторых, умение держать себя в обществе. Особенность человека — разумность в отношении к природе и *humanitas* в отношении к обществу, т. е. осознанная готовность заботиться не только о себе, но и о других. На *humanitas*, на искусстве достойного общения между равными держится все общество. Не случайно потом на основе этого — в конечном счете бытового — понятия развилось такое возвышенное понятие, как «гуманизм».

И, заметим, именно эта черта общительности все больше выступает на первый план в развитии русских понятий «интеллигенция», «интеллигентный». «Интеллигенция» в первоначальном, этимологическом смысле слова, как «служба ума», была обращена ко всему миру, живому и неживому, — ко всему, что могло в нем потребовать вмешательства разума. «Интеллигенция» в теперешнем, заключительном смысле слова, как интеллигентность, «служба воспитанности», «служба общительности», проявляется только в отношениях между людьми, причем между людьми, сознающими себя равными, «ближними», говоря по-старинному. Когда я говорю: Мой начальник — человек интеллигентный, это понимается однозначно: мой начальник умеет видеть во мне не только подчиненного, но и такого же человека, как он сам.

А интеллигенция в промежуточном смысле слова, «служба совести»? Она проявляет себя не в отношениях с природой и не в отношениях с равными, а в отношениях с высшими и низшими — с властью и с народом. Причем оба этих понятия, и «власть» и «народ», достаточно расплывчаты и неопределенны. Именно в этом смысле интеллигенция является специфическим явлением русской жизни второй половины XIX — начала XX в., — тем самым явлением, которое находится в центре внимания этого сборника. Оно настолько специфично, что западные языки не имеют для него названия и в случае нужды транслитерируют русское: *intelligentsia*. Для интел-

лигенции как службы ума существуют устоявшиеся слова: *intellectuals*, *les intellectuels*. Для интеллигентности как умения уважительно обращаться друг с другом в обществе существуют синонимы столь многочисленные, что они даже не стали терминами. Для «службы совести» — нет. (Что такое совесть и что такое честь? И то и другое определяет выбор поступка, но честь с мыслью «что подумали бы обо мне отцы», совесть — с мыслью «что подумали бы обо мне дети».) Более того, когда европейские *les intellectuels* вошли недавно в русский язык как интеллектуалы, то слово это сразу приобрело отчетливо отрицательный оттенок: «рафинированный интеллектуал» (словосочетание из Малого академического словаря), «высоколобые интеллектуалы». Почему? Потому что в этом значении есть только ум и нет совести, западный «интеллектуал» — это специалист умственного труда и только, а русский «интеллигент» традиционного образца — нечто большее. И наоборот, когда западные историки (привыкшие, что их *les intellectuels* исправно служат обществу и государству, каждый в своей области) стараются понять, в чем особенность русской *intelligentsia*, то они определяют ее приблизительно так: «это — слой общества, воспитанный в расчете на участие в управлении обществом, но за отсутствием вакансий оставшийся со своим образованием не у дел». Отсюда и оппозиционность: когда тебе не дают места, на которое ты рассчитывал, ты, естественно, начинаешь дуться.

В чем те особенности русской действительности, которые породили это явление, удивляющее иностранцев? Как всегда, в том, что России за три века пришлось пройти ускоренный курс европейского развития. Все мы помним блестящую картинку В. О. Ключевского, как в русском обществе XVIII в. при дворе сменялись навигацкие ученики, вертопрахи, вольтерьянцы и то ли масоны, то ли служаки, причем каждое очередное воспитание сходило со сцены, не успев быть востребованным. Русская власть была традиционалистична и неповоротлива, *homines novi* в ее рядах (вроде Сперанского) появлялись не чаще, чем в Древнем Риме. Отмена крепостного права при Николае I обдумывалась десятилетиями, но обдумывалась в секретных комитетах, а для общественного обсуждения была запрещена. Западная государственная машина, двухпартийный парламент с узаконенной оппозицией, дошла до России только в 1905 г. До этого всякое участие образованного слоя общества в общественной жизни обречено было быть не интеллектуальским, практическим, а интеллигентским, критическим — взглядом из-за ограды.

Власть была нерасчлененной и аморфной, она требовала не специалистов, а универсалов. Виднее всего это было на больших переломах: при Петре в таких людях, как Татищев или Нартов; при большевиках, когда комиссара с легкостью перебрасывали из ЧК в НКПС. В промежутках этого универсализма выглядел мельче и комичнее, но оставался тем же: кажется, это Вяземский иронизировал: «назначь Жуковского командовать кавалерией — все возмутятся, а назначили генерала командовать финансами — никто не удивляется». Пенять на это не приходится, такова была историческая ситуация России; в конце концов крестьянскую реформу 1861 г. тоже провели военные и статские генералы, а не специалисты по народному хозяйству.

Где властью занимаются профессионалы-политики, там вопрос об отношении интеллектуалов к власти не стоит — во всяком случае, не в большей степени, чем об отношении их, скажем, к экономике. В России власть непрофессиональна, случайна, непредсказуема — при царе ли, при Ельцине ли: она напоминает власть в волчьей стае с паханом-государем во главе. Власть закона в России насаждали и Екатерина II, и Николай I, и Александр II: все оказывалось преждевременно, результаты напоминали больше европейский XVI в., чем даже XVIII-й. Когда военная реформа запрещала бить солдат по закону, их били по обычаю. Сейчас любят определять интеллигенцию как хранительницу традиций (иногда забывая прибавлять: «духовных»; впрочем, власть — это тоже в конечном счете духовная категория). На самом деле в гораздо большей степени хранительницей традиций является власть — как в волчьей стае. Радоваться ли этому? В одной из статей этой книги интеллигенция определена как «профессиональный ревизионизм»; это очень точно, а что в русских усло-

виях такой профессиональный ревизионизм очень легко превращался в профессиональное революционерство — очень естественно.

Русская интеллигенция была западным интеллектуальством, пересаженным на русскую казарменную почву. Интеллигенция есть часть народа, занимающаяся умственным трудом, и только в силу исторических неприятностей берущая на себя дополнительную заботу: политическую оппозиционность. Может быть, нервничанье интеллигенции о своем отрыве от народа было прикрытием стыда за свое недотягивание до Запада? Интеллигенции вообще не повезло, ее появление совпало с буржуазной эпохой национализмов, и широта кругозора давалась ей с трудом. А русской интеллигенции приходилось преодолевать столько местных особенностей, что она до сих пор не чувствует себя в западном интернационале. Щедрин жестко сказал о межеумстве русского человека: в Европе ему все кажется, будто он что-то украл, а в России — будто что-то продал.

Критический взгляд из-за ограды — ситуация развращающая: критическое отношение к действительности грозит стать самоцелью. Анекдот о гимназисте, который по привычке смотрит столь же критически на карту звездного неба и возвращает ее с поправками, — естественное порождение русских исторических условий. Парламентская государственная машина на Западе удобна тем, что роль оппозиции поочередно примеряет на себя каждая партия. В России, где монополярная власть до последнего момента не желала идти ни на какие уступки, оппозиционность поневоле стала постоянной ролью одного и того же общественного слоя — чем-то вроде искусства для искусства. Даже если открывалась возможность сотрудничества с властью, то казалось, что практической пользы в этом меньше, чем идейного греха — поступательства своими принципами.

Особенно это выявилось в последние десятилетия советской власти. Б. А. Успенский в недавней статье прямо называет логически определяющим признаком русской интеллигенции принципиальную невовлеченность в политические структуры. Идеальный ее тип — диссиденты, идущие в истопники и дворники, чтобы только не служить неприемлемой власти. (Этот тип маргинальности называется богемой; он выработался в романтическую эпоху среди людей искусства, теперь он распространился на людей науки.) Разумеется, в истопники и дворники в буквальном смысле слова шло меньшинство оппозиционно настроенных интеллигентов; большинство находило себе места младших сотрудников при не очень политизированных областях знания. Здесь возникали свои психологические сложности. А. К. Жолковский в ретроспективном анализе собственного жизненного поведения в 1970-е годы показывает блестящий тому пример: он работал на радио при вещании на суахили; этим он удачно отгораживался от идеологического участия в окружающей советской жизни, однако этим же он нес советское идеологическое давление в далекую сомалийскую жизнь, о чем предпочитал не думать.

Почему русская интеллигенция ведет свою историю с 1860-х годов? Просвещение распространялось в России, как всюду, сверху вниз — от узкого образованного слоя к народу. В средние века эта передача культуры от верхов к низам осуществлялась духовным сословием, в XVIII в. — дворянским, но мы не называем интеллигенцией ни духовенство, ни дворянство, потому что оба сословия занимались этим неизбежным просветительством лишь между делом, между службой Богу или государю. Понятие интеллигенции появляется с буржуазной эпохой — с приходом в культуру разночинцев, т. е. выходцев из тех сословий, которые им самим и предстоит просвещать. Психологические корни «долга интеллигенции перед народом» — именно здесь: если Чехов, сын таганрогского лавочника, смог окончить гимназию и университет, он чувствует себя обязанным постараться, чтобы следующее поколение лавочниковых сыновей могло быстрее и легче почувствовать себя полноценными людьми, нежели он. Если и они будут вести себя, как он, то постепенно просвещение и чувство человеческого достоинства распространится на весь народ — по трезвой чеховской прикидке, лет через двести. Оппозиция здесь ни при чем, и Чехов спокойно

сотрудничает в «Новом времени». А если чеховские двухсотлетние сроки оказались нереальны, то это потому, что России приходилось торопиться, нагоняя Запад, — приходилось двигаться прыжками через ступеньку, на каждом прыжке рискуя сорваться в революцию.

«Долг интеллигенции перед народом» своеобразно сочетался с ненавистью интеллигенции к мещанству. Говоря по-современному, цель жизни и цель всякой морали в том, чтобы каждый человек выжил как существо и все человечество выжило как вид. Интеллигенция ощущает себя теми, кто профессионально заботится, чтобы человечество выжило как вид. Противопоставляет она себя всем остальным людям — тем, кто заботится о том, чтобы выжить самому. Этих последних в XIX в. обычно называли «мещане» и относились к ним с высочайшим презрением, особенно поэты. Это была часть того самоумиления, которому интеллигенция была подвержена с самого начала. Такое отношение несправедливо: собственно, именно эти мещане являются теми людьми, заботу о благе которых берет на себя интеллигенция. (Когда в басне Менения Агриппы живот, руки и ноги относятся с презрением к голове, это высмеивается; когда голова относится с презрением к животу, рукам и ногам, это тоже достойно осмеяния, хотя, что характерно, об этом никто не написал басню.) О классическом типе мещанина, флюберовском мсье Омэ, Ренан сказал: «Если бы мир не состоял из таких Омэ, нас всех давно бы сожгли на кострах».

Мы не касаемся еще одной смежной общественной прослойки — «полуинтеллигенции»: это слишком далеко бы нас завело. Между тем совершенно ясно, что когда герои Зоценко с уважением говорят друг о друге «полуинтеллигент» или когда у Алданова проходной (комический, но не отрицательный) персонаж говорит: «я принадлежу к высшей полуинтеллигенции нашего местечка», то речь идет о социальных процессах, очень массовых и очень важных для современной культуры.

Отстраненная от участия во власти и неудовлетворенная повседневной практической работой, интеллигенция сосредоточивается на работе теоретической — на выработке национального самосознания. Этой теме уделено неожиданно много внимания в настоящем сборнике. Самосознание, что это такое? Гегелевское значение, где самосознание было равнозначно реальному существованию, видимо, уже забыто. Остается самосознание как осознание своей отличности от кого-то другого. В каких масштабах? Каждый человек, самый невежественный, не спутает себя со своим соседом. В каждом хватает самосознания, чтобы дать отчет о принадлежности к такой-то семье, профессии, селу, волости. (Какое самосознание было у Платона Каратаева?) Наконец, при достаточной широте кругозора — о принадлежности ко всему обществу, в котором он живет. Можно говорить о национальном самосознании, христианском самосознании, общечеловеческом самосознании. Складывание интеллигенции совпало со складыванием национальностей и национализмов, поэтому «интеллигенция — носитель национального самосознания» мы слышим часто, а «носитель христианского самосознания» (отменяющего нации) — почти никогда. А в нынешнем мире, расколотом и экологически опасном, давно уже стало главным «общечеловеческое».

Когда западные интеллектуалы берут на себя заботу о самосознании общества, то они вырабатывают науку социологию. Когда русские интеллигенты сосредоточиваются на том же самом, они создают идеал и символ веры. В чем разница между интеллектуальским и интеллигентским выражением самосознания общества? Первое стремится смотреть извне системы (сколько возможно), второе — переживать изнутри системы. Первое рискует превратиться в игру мнимой объективностью, второе — замкнуться на самоанализе и самоумилении своей «правдой». В отношениях с природой важна истина, в отношениях с обществом — правда. Одно может мешать другому, чаще — второе первому. При этом сбивающая правда может быть не только революционной («классовая наука», всем нам памятная), но и религиозной (отношение церкви к системе Коперника). «Самосознание» себя и своего общества как бы противопоставляется «сознанию» мира природы. Пока борьба с природой и познание

природы были важнее, чем борьба за совершенствование общества, в усилиях интеллигенции не было нужды. Сейчас, когда мир, природа, экология снова становятся главной заботой человечества, должно ли измениться место и назначение интеллигенции? Что случится раньше: общественный ли конфликт передовых стран с третьим миром (для осмысления которого нужны интеллигенты-общественники) или экологический конфликт с природой (для понимания которого нужны интеллектуалы-специалисты)?

«При широте кругозора», — сказали мы. Просвещение — абсолютно необходимая предпосылка интеллигентности. Нынешние все более частые декларации, что образование не гарантирует интеллигентности и что в людях простых и неученых можно встретить больше интеллигентности, чем в иных профессорах, — это только значит (как мы уже говорили), что понятие интеллигентности сдвинулось в область чистой нравственности и что иные профессора, видимо, на самом деле образованны плохо. Сократ говорил: «Если кто знает, что такое добродетель, то он и поступает добродетельно; а если он поступает иначе, из корысти ли, из страха ли, то он просто недостаточно знает, что такое добродетель». Культивировать совесть, нравственность, не опирающуюся на разум, а движущую человеком непроизвольно, — опасное стремление. Что такое нравственность? Умение различать, что такое хорошо и что такое плохо. Но для кого хорошо и для кого плохо? Здесь моральному инстинкту легко ошибиться. Даже если абстрагироваться до предела и сказать: «хорошо все то, что помогает сохранить жизнь, во-первых, человеку как существу и, во-вторых, человечеству как виду», то и здесь между этими целями «во-первых» и «во-вторых» возможны столкновения; в точках таких столкновений и разыгрываются обычно все сюжеты литературных и жизненных трагедий. Интеллигенции следует помнить об этимологии собственного названия.

И как власть была нерасчлененной и аморфной, так и формы интеллигентской оппозиции были нерасчлененными, литература, публицистика и философия сплывались в какой-то первоначальный синкретизм. (Впрочем, в предромантической и романтической Европе тоже можно найти тому множество примеров.) Теперь иные теоретики русской философии пробуют выдавать этот архаический синкретизм за грядущий синтетизм всеединства — все равно как Герцен видел в архаической русской общине образец грядущего социализма. Сейчас критика любит горевать, что русская литература перестает быть учителем и вождем, а становится, как на Западе, беллетристикой, чисто художественным явлением. Между тем это естественный результат развития, дифференциации культуры: публицистика — публицистике, эстетика — эстетике.

Точно так же, вероятно, кончается и эпоха русской интеллигенции образца XIX в., которая одна работала и за искусство, и за философию, и за политику. Русское общество медленно и с трудом, но все же демократизируется. Отношения к вышестоящим и нижестоящим, к власти и народу отступают на второй план перед отношениями к равным. Не нужно бороться за правду, достаточно говорить правду. Не нужно убеждать хорошо работать, а нужно показывать пример хорошей работы на своем месте. Это уже не интеллигентское, это интеллектуальское поведение. Мы видели, как критерий классической эпохи, совесть, уступает место двум другим, старому и новому: с одной стороны, это просвещенность; с другой стороны, это интеллигентность как умение чувствовать в ближнем равного и относиться к нему с уважением. Это хорошо, лишь бы понятие «интеллигент» не самоотождествилось, расплываясь, с понятием «просто хороший человек». «Психологическое сословие» — удачно было сказано о современной интеллигенции на одной из страниц этой книги. Такое самоощущение опасно: умиленный самоанализ может прогрессировать, и как бы сама эта книга не оказалась его проявлением. Нынешнее обсуждение следовало бы начать с вопроса: считаем ли мы, обсуждающие, себя интеллигентами? За себя я ответил бы: нет, я — работник умственного труда на государственной зарплате. С этой точки зрения я и пытался ответить на вопросы дискуссии.